

Три года минуло после войны. Но великая река о двух потоках — с запада на восток и с востока на запад — несла в себе боль войны, несла с собой ее мусор.

Эвакуированных битком в поездах и на вокзалах. Шныряет шпана. Чуть отпустил чемодан — был и нету. Востро держаться надо. Глаз да глаз нужен. Не то, как та тетка, волосы на себе рвать будешь.

Подлабунился к ней прыщавенький. Куда да куда, мамаша? Та видит, вроде одет фасонисто, услужливый. То кипяточку принесет, то ребятешку покачает. А ехать ей аж до Брянска. Неграмотная. Тычется с бахралишком то в одну очередь, то в другую. Неделю не может закомпостировать билет. А тут подвернулся этот вертлявый. Давайте, мамаша, я мигом все устрою. И устроил. Свихнулась, горемычная, катается по полу, рвет волосы и одежонку. Дите рассупонилось и тоже в голос. Прыщавенького народ забил до полусмерти, он уже старика с котомкой обрабатывал.

Толик с матерью ехали из Средней Азии. Жили они в поселении для ссыльных. Повестка пришла расказаченному донцу. В трудармию кормильца семьи забрали. Запропал где-то в Тагиле. Вот туда в неведомый путь и дерзнула Полина по указанному в последнем мужнином письме адресу. Застряли в Омске.

Онаквочкой распушилась на узлах. Что получшенавздевала на себя. Запарилась совсем. Толик от великой толчеи оробел, забился в узлы.

К ним присоединился юркий дядек с балеткой. Он нахохлился, по-птичьи, урывками, исподволь огляделся и, клонув носом в жилетку, расслабил пальцы на балетке.

Хватанули прямо из рук. Полина ойкнуть не успела — их след простыл. Двое: один в клетчатом пижамке, другой — чернявый такой, на цыгана похож. Растормошила Полина соседа, а тот и глазом не моргнул: спросил, как жулье выглядит, и ушел. Приходит — с балеточкой. Спасибо, дескать, добрая женщина. Раскрыл балетку — а там видимо-невидимо обыкновенных швейных иголок. Вот дурачье безмозглое! Спереть сперли, а что с иголками делать, не знают.

За червонец отдали с превеликим удовольствием. А этой балеточке цены нет. Поизносился народ за войну. Вот вам за сострадание к ближнему! И подает Полине целых пять иголок.

Улыбчивый говорливый дядек показался Толику добрым. Он проворно вылез из узлов, достал из кирзово́й кошелки пиалу и протянул ее дядьку. Тот удивленно и ласково улыбнулся:

— Ты что, карапуз?..

И догадавшись, с осуждением посмотрел на мать: дескать, чего еще, итак пять иголок дал, нечего малыцу попрошайничать!

Она шлепнула сына и забрала пиалу.

А как хотелось ему с пиалой, полной иголок, пойти среди изнуренных дорогой людей и раздавать сверкающие, как солнечные лучики, иголки.

Наконец-то подали запоздалый «пятьсот веселый». Толик прилип к окну. Когда паровоз гудел к отпращиванию и вагоны дергались один за другим, он нервничал и переживал за тех, кто опаздывал.

Вот из буфета выбежал толстяк с расстегаями. За ним запыхалась старушка с узлами. «Ну, помоги же бабушке, дяденька! Эх, кабы я там был!..» Словно услышал толстяк Толика, приостановился. Бабке расстегая сунул, а сам узлы в вагон покидал и старуху подсаживает.

Стал Толик загадывать на опаздывающих. Что бы такое загадать? Так, если успеет вон тот в очках, то папка найдется и кубанку свою подарит, казацкую. Ишь, прыткий, как кузничик: не ноги, а ходули. Заслабо успел! Та-ак!.. Если теперь тетенька с ребенком успеет, то папка пистолет купит с пистонками. Ну, давай же, давай, тетенька! Да на руки, на руки дитенка возьми! Эх, не успела!.. Толик чуть было не заревел от досады, до того распереживался. Но тетка с ребенком нисколько не расстроилась, а лишь замахала поезду вслед.

Дробит время и километры «пятьсот веселый» — временное общежитие на колесах. Неохота покидать насиженный уют. Но в Тюмени надо было компостировать билеты.

Высадились ночью. Полина посадила Толика на узлы, а сама сбилась с ног, бегая по вокзалу, бестолково тыкаясь от одной кассы к другой. Тяжело дыша, растерянно останавливалась возле сына и подбадривала себя:

— Ой, да девка, чо это я? Да вон та касса, компостирует которая!..

Она опять начинала бегать, вставала на цыпочки, вытягивая шею из-за очередей у касс. Пришептывала, делая вид, что читает расписание поездов. Но почему-то спросить как следует стеснялась. А если спрашивала, то тушевалась, торопливо кивала: спасибо, мол, все понятно! И не дослушав до конца объяснение, опять тыкалась от одной очереди к другой.

Скоро она изрядно всем надоела. И тогда старичок, похожий на дедушку Калинина, которого Толик видел на картинке, ласково взял ее за локоть, отвел в сторонку, внимательно из-под очков изучил билеты и твердо поставил деревенщину в очередь.

С тех пор Толик стал бояться ужасного, непонятного слова: «компостирование».

Полина будто обезумела от суеты: сводив сына в туалет, ринулась в обратную от вокзала сторону. Толика рассердила бестолковая беготня:

— Я больше с тобой никуда не поеду! Вокзал не там, а вон там!

Посадка на свердловский поезд давно началась. Пришлось нанимать носильщика, а то бы еще остались куковать в Тюмени.

Уже три года не было войны. Но большое движение по дорогам страны не ослабевало. Все еще хранило запах госпиталей, и все еще вагонный уют манил ищущих крова, жаждущих сострадания и вынюхивающих легкую поживу.

В Камышлове произошла неразбериха с путями, составами, и пассажиров попросили освободить вагоны.

Нудно моросило. Толпа понабилась в хлипкий деревянный вокзальчик. И на перроне негде было упасть яблоку. Пассажиры сидели, лежали под клеенками, пальто, одеялами. Шишаками торчали плащпалатки военных. С головой укутавшись в шинель, стучал ногой-деревяшкой фронтовик: калечную ногу ломило в ненастье. Рядом на фанерном чемоданчике нахохлился фэззушник. Чтобы не раздражать соседей стуком, инвалид подвинул деревянную ногу к траве. Но как только он начинал подремывать, деревяшка перекакивала на доску перрона. Фабзяц вздрагивал, шарил рукой в воздухе, чем бы прикрыться, и поправлял форменную фуражку.

Несуразная бабка в допотопном салопе сусликом высматривала: не подают ли состав? И частила челю-

стью, лузгая семечки. Все что-то жевали, колупали вареные яйца, ковырялись в рыбе. И лишь неподалеку от Толика, в трофейном плаще с поднятым воротником, стоял человек и ел колбасу.

Мальчик с утра пожевал только урюк. А мужчина неторопливо, даже нехотя, жевал колбасу. Как вкусно шибал ее запах!.. Аккуратист и чистюля отводил руку в сторону, по-женски оттопыривал мизинец и стряхивал с пальцев липкую жирную кожуру. Мокрые воробьи молча и деловито растаскивали ее по траве.

Толику не нравилось, когда женщины, а тем более мужчины, как цацы, манерно оттопыривали мизинцы. Но почему-то человек в плаще не вызвал у него неприязни. Он лишь позавидовал ему. Среди сморенных дорогой и нудным дождем людей тот в своем черном плаще торчал, точно вороненый штык, как бы оберегая Толика, его мать и всех этих усталых путников.

Всякая детская душа жаждет загадочного. И если жизнь не дарит его, то поспешает на помощь воображение. И человек в черном плаще, нехотя евший колбасу, уже виделся Толику необыкновенным, сильным, таинственным.

Худенькая воробьица схватила тяжелую, с остатками колбасы кожуру. Низко взлетела, но не удержала добычу. Огрызок шлепнулся на узел прямо перед Толиком. Медленно пополз вниз, оставляя на мешковине жирный след.

Осторожно, чтобы не сдвинуть колбасу, мальчик оглянулся на мать. Нахлобучив белую панаму, в которой она собирала хлопок, она полулежала на кошелке и мечтала о скорой встрече с мужем...

Колбасный обедок уже еле держался на узле: вот-вот упадет на мокрую доску. Толик перестал дышать, как будто ловил бабочку. Снизу подвел ладошку под огрызок и тотчас же поймал его. Задыхаясь от головокружительного запаха, до дыр выскоблил зубами кожуру. Вытер рукавом вельветки нос, щеки, подбородок. Облизал пальцы. Вот это вкуснятина!

Человек в плаще оказался соседом Толика по вагону. Он сидел напротив хорохористого парня. Тот с вызовом щелкал картами, перетасовывал их и наконец предложил мужчине перекинуться в очко. Тот оторвался от окна и пристально посмотрел на картежника. Хорохористый как-то сразу сник, засопел, полез в вещмешок за яйцом. Принялся его шелушить, складывая мелкие скорлупки в одну большую.

По вагону, звякая бутылками, беспрестанно бегали счастливые выпивохи. Раз пять туда и обратно прошаркал с мешком небритый старик, высматривая, нет ли свободного местечка. За ним, нагло глядя людям в глаза, неотступно следовали двое блатных. Люди боязливо отводили глаза: а вдруг и к ним пристанет эта шпана. Их тут наверняка целая шайка. Лучше не связываться.

Когда эти двое с морожеными глазами проходили мимо, Толик весь холодел, прижимался к матери, прятал голову у нее под мышкой. Ему казалось, что это не люди, а оборотни, о которых сказывала соседская бабушка, донская казачка. Вот-вот ударятся они об пол и закопытят клыкастыми свиньями по вагонам, кусая и пожирая людей. Эх, был бы Толик Ильей Муромцем, он бы показал оборотням кузькину мать! Обрубил бы им руки и вышвырнул из поезда. Дяденька в плаще что-то ждет...

Тот поднялся, вынул из серебряного портсигара папиросу, промял ее, продул. Попросил соседа посторожить место, вышел в тамбур.

Вернулся через полчаса и вдруг сам предложил парню сыграть в двадцать одно. Тот оторопело перетасовал карты, попросил партнера снять колоду. Поплевал на пальцы и быстро раздал по карте.

Взьерошенный был обыкновенный начинающий шулер. Видно, ему не терпелось закрепить недавний свой успех. Ни крапленые карты, ни ловкость рук сейчас не помогли. То недобор, то перебор. Зато человек в плаще спокойно открывал двадцать одно и, брезгливо оттопыривая мизинец, забирал червонец.

Шулер не выдержал:

— Хорэ! Хватит с меня! Все, нет больше денег! — провизжал и стал захихивать за пазуху колоду.

Мужчина перехватил его руку, забрал карты, потасовал, нашел четыре крапленых с дырками и аккуратно разорвал их пополам. Наклонившись к взьерошенному, что-то прошептал ему на ухо и отдал колоду. Неудачливый картежник засобирился к выходу.

Человек в плаще опять вышел покурить. Вернулся с целым и невредимым дедом-мешочником и указал ему на свободное место. Старик нараскоряку встал посреди прохода, скинул мешок на пол, снял треух и поклонился:

— Шпашибо, люди добрые! Шпашибо, мил щеловек! — он прижал землистую руку к сердцу и поклонился человеку в черном плаще.

Люди застыдились, и кто-то пообещал себе не оставлять ближнего в беде, а действовать сообща, всем вместе, всем миром.

Спрятавшись за мать, Толик, почти не мигая, смотрел на загадочного мужчину. Он никого не боится, всех сильнее и все может! Мальчику захотелось, чтобы дяденька хоть разочек взглянул на него. Высунулся из-за матери и снова спрятался. Но решил смотреть не таясь, а прямо, а то что мужчина подумает? Скажет, трус какой-то. Вновь высунулся и долго, и смело смотрел на человека в плаще. Тот почувствовал его взгляд, обратил к нему суровое, неподвижное лицо, улыбнулся одними глазами и по-своейски подмигнул. Толик счастливо застеснялся и снова спрятался.

Из тамбура вкрадчиво проникли в вагон звуки аккордеона. Вошел слепой. Глазные бельма его отливали синевой. Он играл на немецком трофее. Тот переливался зеленым перламутром и сверкал хромированными

ми решетками.

Сзади за хлястик распахнутой шинели держалась похожая на монашку поводирыша.

Поезд огибал озеро. Вагоны мотались из стороны в сторону. Озеро кончилось — женщина дернула спутника за хлястик. Он снял пилотку и протянул ей. Шаркая одной ногой и подтягивая к ней другую, двинулся вперед и загнусавил самодельную жалостную песню:

*Сирота я, слепой сиротинка.
Люди добрые кормят меня.
Доживу я, несчастный, в потемках
До веселого смертного дня.*

— Дорогие братья и сестры, матери и отцы, не откажите слепому калеке, опаленному войной, в хлебе насущном! — монотонно, нараспев, проговорил певец. И с надрывом вместе с поводирышей повторил:

*Доживу я, несчастный, в потемках
До веселого смертного дня.*

В пилотку посыпалась мелочь, кто-то бросил мятый рубль. Женщина как заводная кланялась, крестилась и благодарила:

— Спаси Боже вас! Спаси Господи вас!..

*И фашистского гада я стрельнул —
Труп с горы покатился его,
Но глаза мне войной опалило —
Я не вижу теперь ничего,—*

закончил куплет слепой и снова обратился к братьям и сестрам.

Толик заранее взял у матери денежку и с нетерпением ждал, когда певцы подойдут поближе. До боли сжав в кулачке монету, он покраснел и робко подошел к пилотке с ржавой дыркой от звездочки. Разжал кулачок и стеснительно уткнулся в колени матери.

Человек в плаще, разгладив на столике синюю пятерку, аккуратно положил ее в пилотку.

Старик долго шарил по карманам, рылся за пазухой и, похлопав себя, виновато развел руками:

— Прощтите, люди добрые, ни копейки нет!

*Надо мною кружит черный ворон.
Мать сыночка родимая ждет.
Где умру я, никто не узнает,
Лишь соловушка песню поет,—*

закончил в конце вагона слепой.

Полина прослезилась, скомкала мокрый платочек. Толику тоже хотелось плакать, но он сдержался.

— И куды это народ выше едет и едет? Я вот к шыну, а оштальные куды?..— вдруг некстати прошепелявил старик.

Но ему никто не ответил.

И шли они по темному тоннелю и шли, пока лестница не вывела их в вестибюль свердловского вокзала. Там тяжело пахло хлоркой и туалетом, а над головами летали воробьи.

Дикторша то и дело объявляла, чтобы какие-то родители, потерявшие дочку или сына, зашли в комнату милиции. Вестибюль содрогался от людской круговерти — невозможно было остановиться. Толпа с «пятьсот веселого» вытолкнула Полину с сыном на улицу и оттеснила к арке. Толик засмотрелся на барельеф железнодорожника. Но его заслонил здоровенный дядька, который стал играть с золотиночным шариком. В другой руке он держал целую кучу этих шариков. Какой ребенок мог пройти мимо и не потребовать у матери: «Хочу шарик!» Рядом с дядькой пристроилась мороженщица с фанерным лотком на животе.

Полина оставила Толика на вещах, а сама побежала за билетами. Он, открыв рот, смотрел, как скачет шарик: точно живой, даже не видно резинки.

Матери долго не было, и он уже представлял одну картину страшнее другой. Будто у мамы вытащили деньги или она без Толика заблудилась, как в Тюмени... Ему стало жалко мать и себя, и он заплакал. А чтобы никто не увидел, что он плачет, и не сдал его в милицию, наклонил голову к узлу, будто стал этот узел развязывать.

Запаленная, Полина прибежала с носильщиком в белом фартуке и с бляхой. Тот перехватил узлы ремнем, перекинул через плечо, взял кошелку и повел пассажиров за собой по длинному темному тоннелю на поезд до Нижнего Тагила.

В дороге люди знакомятся, спрашивают: «Куда вы едете?» До Свердловска Толе с матерью не раз приходилось отвечать, что едут они в Нижний Тагил Свердловской области. Соседи неопределенно тянули: «А-а, Свердловск, как же, знаем, большой город. А Тагил, да еще Нижний, нет, не слышали про такой». Правда, в Ялуторовске подсел к «тагильчанам» электромонтер с наточенными железными когтями через плечо. Так он вспомнил фронтовую поговорку: «Броней стальнойю из Тагила фашистам роется могила!» Сам он воевал радистом на тагильском Т-34. Крепкую сталь варили в Тагиле. Гораздо надежнее хваленной крупновской. Тугая броня — снаряды, как мячики, отскакивали.

Люди на новом месте оглядываются кругом и смотрят на небо. Над бараками по другую сторону железнодорожных путей высился частокол труб и красил небо цветными дымами.

Измученный дорогой, Толик уже почти спал. Полина догадалась сдать вещи в камеру хранения. Разузнала, как добраться до Смычки, где проживал муж.

Оказалось, что поезд расформировывался на железнодорожном узле под названием Смычка. Подхватив сына на руки, Полина обратно побежала в свой вагон.

На станции вышло человека три. И те шмыгнули под вагоны — не у кого было спросить про Тормозной тупик.

Темнело. Полина с проснувшимся Толиком поднялись на перекидной мост. Прямо под их ногами вспыхнул прожектор и осветил бесчисленные узкие спины вагонов. Словно задремали одномастные коровы. Черные туши паровозов блестели на запасном пути.

Рядом остановился долговязый железнодорожник и закричал в ухо Полине:

— Красоти-ища!

Она вздрогнула и спросила про Тормозной тупик. Он указал на паровозы:

— Как закончится хвост ихний, там и тупик ваш.

В хвосте ИСов пристроилась «кукушка», уткнувшаяся в бугор с рельсом на козлах. На верху крутого высокого откоса светилось окно. К дому поднимался шаткий трап с занозистым перильцем. Судя по всему, это и был тот самый дом, затерянный в огромной стране, к которому ехали мать и сын.